

ГРИГОРИЙ РЕЙХТМАН

Птичий фургон



Григорий Рейхтман Птичий фургон. Часть первая. Птицы

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22035542
ISBN 9785448338397*

Аннотация

История путешествия по снам, жизням, землям на воздушных шарах, в хрустальных сферах, чужих жизнях и на прочих не-электронных носителях.

Содержание

Глава первая. Дорога	5
Глава вторая. Циферблаты	20
Глава третья. Развилка	33
Глава четвёртая. Переулок Медиков	40
Глава пятая. Мост на ту сторону	56
Глава шестая. Эхо Ленты	72
Глава седьмая. Видения	84
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Птичий фургон

Часть первая. Птицы

Григорий Рейхтман

*...Молвить пламя не умею
и не понимаю тьмы.
Вижу звёзды в книге мира —
слов никак не соберу
Марцелиус Мартинайтис.
«Слова спящему ребёнку»*

© Григорий Рейхтман, 2016

© Евгения Ивановна Стерлигова, иллюстрации, 2016

Иллюстрация на обложке Ольга Новоселова

ISBN 978-5-4483-3839-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая. Дорога

Я ехал на поезде в Ленинград. Была серая дождливая осень. Генрих Бёлль мне надоел, и я отложил его. Свет так же был приглушён, как и звук. Я смотрел в окно на проносящиеся мимо станционные домики, на тусклые, мокрые глыбы многоэтажек, на мокрые платформы, на бурую ржавчину гаражей, на серое, низкое, медленное небо, для меня теперь почти неподвижное. На коленях у меня лежала тетрадь. Обыкновенная толстая «общая» тетрадь с коричневой клеёночато́й обложкой, с листами в клетку. Тетрадь была закрыта. Страницы были чисты. Я её придерживал ладонью – чтобы не соскользнула на пол от тряски – и думал: смогу ли когда-нибудь всю её заполнить своим почерком? Да не просто так, а чтобы вышло что-то вразумительное? Кому-то интересное кроме меня самого? Повесть? Или сказка? Что-то не верится, думал я. Кажется, всё вокруг закрывает для меня двери и окна. Я не знаю секрета вещей. Какие они, о чём молчат?

Я думал: вот, я смотрю и слушаю, но всё это словно не для меня. Словно я не являюсь звеном этой цепочки, частицей этого мира, словно кому-то другому предназначены – и этот день, и эти грязные окна, и разговор двух толстых тётенок напротив меня. Я не понимаю ничего в этих серых, низких, медленных облаках, в этой дороге – даже в собственных мыс-

лях я не понимаю ничего. Может меня перепутали? Может, вместо меня должен быть кто-то другой, которому тут всё в пору, всё ясно – что делать, куда идти, и почему мир таков, а не инов. Но так как-то получилось... Теперь уже поздно что-то менять. Остаётся сделать вид, что так и надо. Что так всё и задумано. И что тогда? Удастся ли разглядеть за видимостью... что-то другое? Понять значение фраз, которыми обращается ко мне мир?

Неплотно закрытая дверь купе постукивала о металл косяка. Летели рельсы за окном, пахло сталью, пластмассой, мокрой тканью плащей... и много ещё чем – всем тем, чем и должно пахнуть в купе поезда. Но ещё... Ещё был какой-то новый запах, которого я раньше не знал. Кажется, это был запах ветра из щели плохо закрытого окна. Я, конечно, и раньше знал, что у ветра бывает запах, причём у каждого – свой. Но теперь это ощущалось почему-то особенно остро. Запах жухлой листвы? Прелой, жухлой, мокнущей листвы тополя и лип, что облетают там, за перронами, за платформами, за домиками станционных смотрителей... Я вдруг подумал – это первая осень, которую я запомню на всю жизнь. Забавно. Я понятия не имел – откуда пришла эта мысль. Знал только, что так оно и есть.

А поезд всё шёл и шёл, а дождь всё сеял и сеял, и не было конца усталому покачиванию, речитативу бесконечных чёрных изоляторов на проносящихся за окнами телеграфных столбах, не было конца мелкой чёрной ряби взлетающих га-

лок и серым далёкими силуэтам доменных печей и гигантских заводских труб, из которых – там, вдали, в вышине! – валил густой дым – прямо в серое, дождливое, медленное небо.

Я почти дремал под монотонное движение поезда. Иногда из глубины этой дрёмы я вдруг замечал, что с речью двух тётенок начали происходить превращения. Появлялись другие звуки и смыслы. Например, «слыхала» превращалось в «вокзала», а «вокзала» – в «сало», или в «сказала». Разговор приобретал фантастический, пугающий оттенок. Нет, решил я, слушать ЭТО невыносимо. Надо глотнуть чаю и взбодриться. И всё-таки попробовать написать сегодня хоть что-нибудь.

И я попробовал.

«Был серый день. Свет так же был приглушён, как звук. И серыми казались мне мысли в моей собственной голове».

Но что же дальше?

Дальше этих трёх фраз дело не шло. Я записал их и снова закрыл – а потом и вовсе отложил тетрадь.

И вообще. Какое всё и вправду промозглое, никчемушное. Осень только начиналась, а мир уже устал от холода, мокрого асфальта, грязно-оранжевых путевых жилетов.

Наверно, можно уснуть, потом проснуться, потом снова уснуть и опять проснуться – и ничегошеньки не изменится.

Вот так же будет бубнить радио, о тех же километрах-килограммах будут бормотать толстые тётеньки, поглядывая на свои толстые сумки, доставая из них ЕДУ, и нарезая её, ЕДУ, на идиотской газете с идиотскими заголовками и статьями... И съедая еду под тупую езду и болтая о жизни на полном ходу с верхней полки глядеть, засыпая на треть, ни о чём не мечтать... ничего не иметь...

И будет дождь.

И вдруг я понял, что где-то и правда – ошибка.

– Привет, – сказал Витька на другом конце провода, – узнал?

– Привет, – сказал я и обрадовался.

– Слушай, – сказал он, – тут есть всякие разные ПТУ... в общем, из которых в армию не берут. Короче, приезжай, если хочешь. Я тебя встречу. Ты же, вроде, любишь Питер?

И ещё что-то в том же духе.

Потом он повесил трубку.

Это было вчера утром.

А я тут же узнал по телефону какие есть поезда на Питер, и отправился за билетом. А вечером – на вокзал. Витькина мама привезла его чемодан, когда узнала, что я еду. Собрала быстренько чего-то там и приехала с другого конца города. С чемоданом и ещё с какими-то кулками. В результате

возникла путаница: часть Витькиных вещей оказалась в моём чемодане, а часть моих – почему-то в Витькином, но это уже потом обнаружилось. Провожала на вокзал меня мама. И ещё Антошка.

Антошка – это был человек лет двенадцати. Познакомились мы так: когда-то у меня была девушка, которая любила Станислава Лема.

Точнее, она, может, и не особенно любила Лема, но мне так хотелось, чтобы она любила, что я и до сих пор не сомневаюсь. И я ей носил книжки с «Солярисом», «Эдемом», «Воспоминаниями Йона Тихого», потом «Футурологический Конгресс» у тёти в библиотеке выпросил, в общем – постоянно таскал ей эти книжки и читал вслух. На самом деле мне очень нравилось две вещи: как она слушает, это первое. А второе – как я ей читаю.

Мы эти книжки таскали с собой повсюду. Например, идём на Каменный Карьер купаться, а книжку – с собой. Обычно дело было так: мы купаемся, потом целуемся, потом устаём целоваться, достаём книжку и превращаемся в Незнайку с Кнопочкой.

Потом сценарий у нас изменился, потому что она собралась замуж за какого-то медика, целоваться мы перестали, но всё равно встречались иногда и читали Лема. Потом и медик куда-то подевался, то ли в Америку, то ли в другую галактику. А мы опять-таки продолжали встречаться и читать. Ну, не всё время Лема, разумеется, таскали мы с собой и дру-

гие книжки, повести Беорниса, например, или рассказы Тима Корнера, или «Овсяный обрыв» Джека Бёрнса, на русском, конечно... Но всё равно всё время возвращались к Лему. Я не знаю почему.

И в то утро у меня был с собой сборник с «Солярисом», «Эдемом» и «пилотом Пирксом». По сути дела, я впервые обратил тогда внимание на подробные описания океана. Уже вышел фильм Тарковского, и мы спорили – стоило ли в угоду тонкой психологии подчистую «сносить» всю фантастику. Я считал, что почему бы и нет, Алиса говорила, что фильм только выиграл бы, покажи Тарковский хоть одну двадцатую того, что описывает Лем. Нам не приходило тогда в голову, что у Тарковского, скорее всего, никаких вариантов не было. Ни в каком смысле. Ни в выборе темы, ни в выборе средств. Я, кажется, по-настоящему разбушевался. Я кричал, что нет и не может быть у современного кинематографа... чего у него нет и не может быть, я не успел прокричать, и теперь уже не помню – что имел в виду – то ли прав каких-то, то ли ещё чего-то... В общем, скорее всего, кричал я по обыкновению какую-то глупость, да оно и понятно, в противном случае я либо говорил бы негромко, либо просто молчал.

И вот, какой-то момент я понял, что мы не вдвоём.

Третий был – пацан лет двенадцати, это и был Антон. Он купался тут рядом, увидел нас с книжкой, услышал как я над-

рываюсь, а фильм, оказывается, как раз недавно посмотрел. Ну, и сел рядом, и стал слушать. А потом заговорил: чего вы спорите, сказал он, потом кто-то снимет другой фильм, там будет сплошной океан и никакой психологии. Я на него обернулся, и Алиса тоже – сразу, потому что голос и текст как-то не совпадали по фазе. И я, не тормозя ни секунды, ответил – вот именно, и так всегда!!! – а потом только разглядел – Антона. Когда оказалось, что с ним можно говорить не только о фильме, но и о СМЫСЛЕ фильма, мы купались уже по пятому разу, и до Антона дошло, что не такие уж мы и взрослые, и он прекратил «выкаты», а ещё через полчаса осмелел достаточно, чтобы попросить нас «покидать» его в воду с травянистого обрыва – где глубоко, и потом Алиса говорила – никогда не думала, что человек может так захотеться от хохота, как младенец – это когда оказалось, что Антон боится щекотки.

Потом мы собрались по домам. Пошли вместе, шли и болтали. Опять про кино, и про то – кто что читал и где кто бывал... Про космос, конечно. Тогда довольно часто говорили про космос, многие считали что скоро люди полетят к другим звёздам. Некоторые даже знали принципы работы фотонных двигателей – в общих чертах, конечно. Я, разумеется, был за нуль-транспортировку.

Потом снова стали говорить о «гостях» со станции «Солярис», и вот тогда оказалось, что Антон совершенно уверен, что они и правда есть, «гости». Только не на орбитальных

станциях, а прямо здесь, у нас, на Земле. Он сказал – они на самом деле не люди, только он не знает пока – откуда они берутся. Но это дело времени, сказал он. Постепенно станет ясно. А насчёт нейтринных систем – это всё ерунда, они по-другому устроены...

Кто его знает... Честно говоря, я уже не очень удивлялся его «текстам». «Акселерация» – думал. И вообще... Я вон тоже в детском садике уже знал про галактики, а в первом классе – про «чёрные дыры», однако, как потом показал опыт – это нельзя считать основным критерием сверхвысокого развития...

А вот на Алису Антон, кажется, действительно производил большое впечатление – до сих пор помню, какие круглые и синие у неё делались глаза, когда он всё это «выдавал».

Однако, мне это отчего-то было даже приятно. Не знаю – в чём тут дело. Словно это Антон был моим старым знакомым, а она – та, на кого следовало произвести впечатление: мол, вот ведь у меня какие развитые друзья... Но нет, конечно, не в том дело. Да и впечатление на неё производить мне уже не хотелось, да и не надо было.

Дошли мы вместе до улицы Вальтера Скотта, где она жила, и она ушла, а мы с Антоном побрели дальше по трассе просто куда глаза глядят. Мимо неслись машины всех видов, а мы шли себе и шли. И продолжали начатый разговор. И не заметили, как вышли на другую трассу – южную.

Это всё было за год до моей поездки в Ленинград. И тоже

была осень, но без дождей – сухая и тёплая. Листья, правда, уже все осыпались, и мало того – их уже пожгли, а где не пожгли, там они стали такие белёсые, просто мелкая крошка, пыль... Я шёл и думал, что до сих пор о таком только в книжках читал. И то, пожалуй, такое бывает только у Беорниса. Чтобы почти взрослый человек (я!!!) познакомился вот так с пацаном и спокойненько бродил бы с ним по улицам и говорил бы невесть о чём, и нисколько не беспокоился бы о том – как это так. А как это так?

Теперь-то я знаю – как.

Мы живём разными своими сторонами в разных местах мира...

У человека есть, например, тяжёлая, теневая грань, или сторона, и ею он живёт в каких-то таких угрюмых странах.

А есть светлые и лёгкие стороны – и ими человек живёт в таких же просвеченных солнцем и продутых ветром мирах, странах, местах...

И если он встречает другого – кто тоже из угрюмых стран, то эта угрюмость полностью проявляется: двое резонируют и увеличивают силу тяжести. Так было у меня с некоторыми знакомыми, и это очень тяжело, и в таких случаях лучше расстаться.

А со мной и с Антоном, было как раз наоборот. Мы сошлись светом и ветром. И когда мы оказывались вдвоём, это чувство усиливалось, и я словно просыпался. Я вспоминал в себе Другого. Антошкиного брата. Но это было позже.

А тогда мы просто шли и шли – и пришли в незнакомые места.

Потом почти всегда так случалось, когда мы начинали бродить вдвоём.

Мы бродили по окрестным лесам, по старым заброшенным стройкам и просто по незнакомым районам. Бывало так: сначала район знакомый, а потом – смотришь – а уже нет. Иногда мы часами подряд не имели представления где находимся. Возникало удивительное состояние, отрешённое и спокойное. Привычный мир становился другим. Мы оказывались на другой планете, в другом времени. Или – просто снились друг другу? Или не друг другу, а этой Планете?

Не знаю. Это был добрый сон.

Мы не надоедали друг другу разговорами. Иногда больше часа могли идти рядом и молчать. Смешно? Ну и пусть. А нам было хорошо. Каждый думал о своём. А потом оказалось, что Антошка – как и я – придумывает музыку. Только у него она звучала без инструментов. И была не похожа на то, что принято называть музыкой. Он мне пытался это подробно объяснить, но я, кажется, не понял до конца. Музыка не объяснишь. Позже я её просто услышал.

Однажды мы оказались в совсем уже странном месте. Дома там были похожи на приморские мазанки, а вместо обычных колодцев с воротами были «журавли». Антон тогда сказал: у каждого города есть особая сердцевина, и если в такую сердцевину попасть, то можно оказаться совсем в других

краях. И может оказаться тогда, что ты вовсе не тот, за кого себя принимал. Я надолго задумался, но ничего не придумал. Я тогда ещё не дорос до таких вещей. Точнее, не было у меня такого опыта. Я потом часто думал: а что, у Антона этот опыт есть? Позже я понял, что опыт этот есть у каждого, только его нужно вспомнить.

Мамы наши удивлялись – чего это мы пропадаем целыми днями по пустырям, когда одному следовало бы думать об успешном окончании и дальнейшем поступлении, а у другого... тоже дел невпроворот, уроков там, и так далее...

И действительно, школу я закончил так себе. И в институт летом не поступил. Ни на чём не «срезался», просто не набрал баллов.

Надо было устраиваться на работу. А весной – в армию.

В армию идти не хотелось.

Тогда я отдал документы в отдел кадров одного режимного завода и стал ждать – когда они пройдут проверку. Сделал я это ещё и по настоянию друзей – им тоже не хотелось видеть меня в военной форме. Они говорили: в джинсах и свитере ты выглядишь лучше. Я и подумал – наверно, они правы. Я тогда просто не знал, что с моей фамилией на режимном предприятии делать нечего.

Пока шли всякие проверки, я был совершенно свободен. И принялся теперь уже целыми днями бродить где попало – со всё усиливающимся чувством – что мир – куда более странная вещь, чем мне раньше казалось, что жизнь похожа

на сновидение с удивительными и странными законами: знаешь, что спишь, знаешь, что придётся просыпаться, и хочется всё рассмотреть тем более внимательно, ничего не пропуская – чем бы оно ни было. Интересно вот что: я действительно чувствовал, что впереди – пробуждение. Было, правда, непонятно – куда? В какую такую явь? Я стал ждать. Какого-то сигнала, что ли, знака... В общем, «звонка будильника».

Звонок Витьки им не был, конечно. Он почти не изменил моего состояния. Но это было предвестие.

Предстояло удивительное перемещение в пространстве: другой город, другое небо, и ещё – был странный и смешной довод в пользу поездки: ведь в Питере я смогу купить Антошке акварельные краски и хорошие кисточки – он неплохо рисовал, но инструменты у него были так себе. А Питер тогда славился своими кистями и красками.

Я думал – вот заработаю денег – и тогда будет на что эти кисточки покупать.

Мои соседки-тётеньки ушли в вагон-ресторан. Поезд остановился. Напротив нашего окна оказался уродливый, кособокий сарайчик, на шиферной стене которого кто-то написал: «**СЛАВА КПСС!**». Кривыми рыжими буквами. Так мог бы написать злобствующий диссидент. В насмешку. Или дурак – безо всякой насмешки. Для красоты. Или исполнитель – из чувства долга, по указанию вышестоящих идиотов.

Но в любом случае, смотреть на эти кривые буквы было и тяжело и тошно. Я даже глаза закрыл, чтобы их не видеть, и так сидел, пригорюнившись, с закрытыми глазами, пока поезд не тронулся и слава кэпээсэс не уплыла куда-то из моего поля зрения. Тогда я открыл глаза.

Всё-таки, хорошо, думал я, что некоторые вещи уходят из жизни раз и навсегда. Как вот эти буквы, например: никогда-никогда я их больше не увижу, и разве это не кайф?! Может, другие такие же увижу. Но эти конкретно – никогда.

Забавно. Ниоткуда не следовало, это «никогда». А вдруг? А если? Я и теперь думаю, что где-то стоит этот сарайчик с буквами, ждёт меня, поджидает... Чушь, конечно.

Проводница принесла чай с вафлями «Снежок». Я пил чай и хрустел вафлями, и снова думал о том, как буду покупать Антошке эти самые краски и кисти. Я даже вспомнил один подходящий магазинчик в начале Невского. Странно, думал я, получается, что я собираюсь скоро вернуться, что ли?

Правда! Оказывается, вот еду я в Питер, планирую свою жизнь на несколько лет вперёд, собираюсь учиться в каком-то судостроительном, или ещё где-то – это всё с одной стороны. А с другой стороны, другой частью своего сознания, я, оказывается, ни на секунду не сомневаюсь, что и месяца не пройдёт, как я увижу Антошку. Как же это так? Как в таком случае вообще можно что-то планировать? «Ну-ну, – сказал кто-то внутри меня, – посмотрим-посмотрим...»

А чего – посмотрим – когда, может, будет что-то такое, о чём я и вообще пока не имею ни малейшего понятия?

«Вот потому и посмотрим», – сказал опять некто. Кажется, даже Антошкиным голосом.

– Ладно, – ответил я ему вслух, – разберусь со временем... – и снова принялся за Бёлля, устроившись на верхней полке. И не заметил как уснул.



Глава вторая. Циферблаты

Мне снился незнакомый город. Вид сверху.

Угадывалось где-то вблизи море, но всё, что я видел, было чередой домиков на крутом спуске.

Я помню течение странного ветра – жидкого и горячего, словно расплавленное стекло, но ещё более текучего, текущего и шипучего, наполненного многими пузырьками. С порывом этого ветра пролетал я над крышами из дранки, над бетонными двориками, залитыми южным солнцем.

Только меня-то не было: был один взгляд, скользящий по предметам.

Иногда происходила удивительная вещь: цементная поверхность перед моим взглядом вспучивалась, выпячивалась – и каждая выщерблинка, каждая ямка, каждое вкрапление – становились видны отчётливо и крупно – как под гигантским увеличительным стеклом.

Но стоило мне отвести взгляд – поверхности успокаивались и возвращались в своё обычное состояние, а ветер уносил меня дальше...

Затем я медленно и с трудом сморгнул. Движение век сдвинуло жидкое, пузырьчатое стекло воздушных потоков.

Пелена приподнялась как текучий колпак – и схлынула прочь.

И я снова открыл глаза, вздохнув от непонятого облег-

чения.

И обнаружил себя на заснеженной обочине какой-то трассы.

Было такое ощущение, что именно движение век перенесло меня сюда.

Я глубоко и часто дышал, наполняя лёгкие свежим морозным воздухом, радуясь, что всё – на самом деле, и одновременно сознавая, что это просто сон.

Булочная, куда послала меня мама, оказалась закрыта. На дверях висел плоский серый замок, и пришлось мне возвращаться ни с чем.

Я прекрасно помню и крыльцо булочной, засыпанное снегом, и ржавые металлические уголки, в которые были забраны ступени. Помню, как я спускался по этим ступеням, обрушивая своими шагами маленькие беззвучные снегопадки, и снежная пыль блестела на солнце. Странно, что я это помню: ведь событий-то этих во сне не было. Странно ещё, что в памяти моей день этот – яркий, солнечный, а в самом сновидении небо было затянуто тучами.

Я хотел перейти улицу, но было негде: сугроб не давал пройти. Хотя сугроб ведь можно было обойти?

Улица была пуста – ни одной машины – и всё-таки я не решился перейти.

Я снова, как и наяву, ждал какого-то знака или сигнала. И я поднял глаза к низкому, облачному небу.

И увидел прямо в небе циферблаты.

Циферблатов было три.

Стрелки показывали время, двигаясь на каждом из циферблатов с разной скоростью – и на каждом из трёх приближались к двенадцати.

– Значит, ты тоже видишь? – внезапно услышал я – и обернулся на голос. Высокая темноволосая женщина стояла слева от меня на рыхлом снегу.

Я до сих пор помню её лицо – сосредоточенное, даже напряжённое, обращённое к небу, помню как она была одета, хотя с тех пор прошло больше двадцати лет.

– Я думала – это я одна. Меня считают сумасшедшей, – сказала она тихо, и вдруг – совсем другим, отчаянным голосом:

– Смотри, смотри! Они крутятся!

Я снова взглянул на циферблаты... Я и так знал, что стрелки на них движутся, но теперь понял смысл этого движения. Особенный смысл.

Появилось чувство – почти знание – что отметка «12» – конец этого мира. В приближении стрелок к этой отметке была такая неотвратимость, что захотелось закричать что-то, разорвать на кусочки живую картинку, на которой мы стоим и смотрим в небо!

А под циферблатами, прямо в серой, текучей пелене неба, уже разгорался знак: две огненных латинских буквы «W», перекрещенных между собой – одна – обычная, другая – вверх ногами....

«Будет двенадцать, и знак погаснет, и кончится всё,» – сказал я вслух. И заплакал. И проснулся.

Ещё не открыв глаза, я понял – что мне всегда мешало жить спокойно: вот эти самые циферблаты. Никакая это не метафора, а всё так и есть. Я понял: беда в том, что всё может кончиться – стрелки подойдут к двенадцати, погаснет знак нашего мира – и наш мир погаснет тоже – моментально и бесшумно – ну, может быть – с лёгким щелчком. Как гаснет телеэкран.

«Да с чего ты взял?!» – спросил я себя. Ответом была тишина. Я ругал себя психопатом, а другой я – молчал, даже не отбивался, словно закрылся от ругателя – а сам думал про себя, что вот такое же молчание будет, когда всё кончится, только его никто не услышит.

– Хрен его знает, что это такое, – сказал я вслух – и только тут вспомнил, что я же еду в поезде, что ночь, и кроме меня в купе должны быть ещё толстые тётеньки – целых две, если они, конечно, не вышли. Я ведь даже не знал – куда они едут. Здесь ли они?

Вроде, здесь. Судя по запаху чеснока и копчёной колбасы... Впрочем, другие люди тоже иногда едят колбасу... Я осторожно свесился со своей полки – так, чтобы ничем не скрипнуть – на тот случай, если они тут.

Они были тут: я различил их грузные тела под простынями, их сумки в проходе, их пакеты на столе. Вдруг ужасно

захотелось уйти. Не почему-нибудь – просто так.

Купе тонуло в сумерках. Я тихонько слез со своей полки, нащупал в темноте свои кроссовки и вышел с ними в коридор. Мягко задвинул за собой дверь.

Коридор был абсолютно пуст. Светились длинные лампы под потолком. Поезд нёсся куда-то... И мы внутри. Странно как. Спим, ходим, видим сны, поедаем колбасу. А поезд себе шпарит где-то в чистом поле, ну и дела... Чернота за окнами казалась засвеченным негативом. Но не плёнкой, а жидкостью. Несущаяся за окнами чёрная глянцевитая жидкость. Ох, нет, не надо так. Просто я ещё не отошёл от сна. Знаки, циферблаты и ещё эта странная женщина... На кого-то она похожа. Не могу вспомнить – на кого. Кажется, я её знаю.

Стоп! Хватит. Повремени.

И тут откуда-то – почти явственно – хриплый, рвущийся, одинокий голос:

«... Сон мне: жёлтые огни.
И хриплю во сне я —
Повремени... Па-а-времени.
Утро... Мудреннее.
Но и утром
Всё не так.
Нет того весел-л-л-ль-я!
Или куришь натошак
Или пьёшь... с похмелья...
Эх – раз.

Да ш-то ты.

Да ещё раз.

Да ш-ш-то ты!

Да ещё много

Много-много-м-м-много-много раз...»

Вот те на. Привязалось. И главное как в тему.

Почему-то я понял сразу смысл – этот, который именно сейчас, для меня. Ночь, поезд несётся, толстые тётеньки наелись и спят, а в небе горит знак, и стрелки на циферблатах бегут всё быстрее и быстрее. А он – он говорит – повремени... Но времени-то нет. То есть, почти нет. Скоро совсем не будет. А эти все попытки... жить, что-то делать... Эх – раз... да что ты, опять не получается. Да еще раз – опять мимо. И так дальше, много-много-много раз. Ну нет. Всё равно я буду... жить я буду, и вообще. Мне же ещё мало лет. Я ещё столько всего успею.

«А он? – страшно хихикнул в голове чей-то голосок, – успел? Чего ж он тогда такие песенки весёлые пропел?»

Значит... Что ж. Сколько успею, столько успею. А он, кстати, совсем немало успел. Всем бы так. Просто... Просто умирать-то всё равно не хочется. Что – там? «Жёлтые огни»? Не дай Бог.

Здесь, на полосатой ковровой дорожке, я обулся и отправился умываться.

Хорошо было почувствовать, что я один, что я на самом

деле никак не связан с толстыми тётянками в купе, и с самим купе – с его темнотой, запахами и пространством, сжатым до предела.

В зеркале умывальника отразился заспанный темноволосый юноша, по виду – почти подросток – растрёпанный, с какими-то растерянными глазами...

В который раз я поразился, что вот такой я и есть. Что стоит мне зажмуриться, и я представляю себя совсем иначе: глаза, например, карие, а вовсе не серые, и волосы скорее тёмно-каштановые, прямые, а не вьющиеся, как в зеркале. И кожа более смуглая, с желтоватым оттенком, какой встречается у жителей островов Тихого Океана... Странно. Ещё как странно! Но, если подумать, то, пожалуй, не более странно, чем всё остальное. Чем – что угодно.

В дверь застучали. Я быстро сполоснулся, пригладил свои вихры и вышел. Тот, кто стучал, не дождался и ушёл. Было пусто. Снова горел желтоватый свет ламп, снова блестяло глянцевой чернотой окно. Я вышел в тамбур. Прижался лицом к дверному стеклу повыше решёток и стал смотреть. Ночь неслась с той стороны стекла, прижавшись к нему вплотную, как я изнутри. Ночь – и отражения. Но если прижаться плотней, отражения исчезают. И виден второй план ночи. Он уже не летит как сумасшедший, а спокойно проходит мимо. И только тёмный горизонт – почти неподвижен. Несёт себе куда-то нити огней – они вовсе не все жёлтые – вон белые... как бусы. А вон и правда жёлтое ожерелье.

Дальше – синие, красные россыпи... Что это? А, наверное аэродромы. Багряные звёзды в небе над горизонтом – радиомачты? Разные... Разные бывают огни.

Сама собою придумывалась сказка. Точнее, сказку придумывало Пространство. Сначала это было только ощущение, я его знаю: становится пусто в груди. Немного побаливает сердце, но это не страшная боль, и скоро она проходит, и становится горячо. Покалывает макушку, и начинаешь чувствовать какие-то волны – не света и не звука, а как будто – того и другого одновременно. Волны приходят с некоторой, сначала неясной, периодичностью. Затем понимаешь, что это узор. И ритм узора может стать чем угодно: может – будет музыка. Или стихи. Или – как теперь – сказка.

«В некотором царстве, в некотором государстве...»

Вот почему так трудно писать и говорить слова. И вот почему я всегда предпочитал музыку. Интонации могут быть те же, но сочетания нот говорят сами за себя. Ни за одной из нот не закреплено – что она значит.

И неважно – было это, или есть сейчас, или только ещё будет. Может, всё вместе. Три следующих подряд ноты могут сказать больше, чем сто слов... И я всегда хотел, чтобы слова были – как мелодия. Где-то на пути от ритма узора к словам или нотам есть такая возможность, но скорость не всегда позволяет повернуть голову в этом направлении.

Сейчас-то я, кажется, успевал: этому каким-то образом помогало многослойное движение пространства за окном

поезда. И слова появились, как ноты.

Дохнуло теплом с Юго-запада. Пришёл мягкий ветер, и стали оседать сугробы. Вечер будет странным и мглистым.

Тёмно-синие тучи придут на закате в зареве жёлтого света. Вот уже порывы ветра ударили по кровельному железу, опрокинули пустую железную бочку на заброшенной стройке напротив моего дома, распахнули мою форточку и принесли запах сосновой смолы и дыма чужих костров. Ночью ветер будет делать с городом всё, что захочет. Я не смогу уснуть. Потому что улицы станут другими, и я сам не понимаю – плакать мне, или смеяться?

Я бы смеялся. Но что-то внутри – не даёт. Или – кто-то? Какая-то густая холодная чернота. Бормочет, копошится. Хочет всё поглотить. Чтобы всё стало серым и скучным. Как эта осень. И – жёлтые огни...

Тёплый и сильный ветер, чистый, густой как морская вода. Сдвинь мой взгляд. Сдвинь взгляды моих друзей. Сдвинь вверх. Я больше не могу не уметь смеяться тебе в ответ, ответь мне. Осень делает шаг, и я пытаюсь сделать тоже. Что же теперь звучит только далёкий рёв ночного автобуса? Скажи – как шагнуть изнутри?

Как попасть туда, где всё это правда, ночью ли этой выйти из дома, оставив ключи на столе?

Может, просьба моя смешна? Когда-то я думал – я должен разбить стекло. Какая нелепость! Где это стекло? Я разбил так много стёкол, но все они были не те, и я только ранился

осколками, и ранил других.

Ну почему вечно, всегда – за стеклом – ветер, но разобьёшь – и там только ночь?!

«Я один, – понял я вдруг, – я один, никого со мной нет. Я обращаюсь к кому-то, но там нет никого, это ошибка... Есть только – здесь и сейчас. Только тетрадь и шариковая ручка. И свет электрической лампочки. И чёрный глянец окна. И эти строчки. Только здесь ещё лес шумит, и горная речка, и совушка кричит в перелеске. И наша музыка на кассетах, и наш путь – неизвестно куда.»

Но это всё – здесь. Здесь, где я пишу это всё. А там?

Там наступает утро. Трамваи уже час, как пошли. Свет на кухне выключен, и в дальней комнате проснулась маленькая девочка. Комната перегородена пополам стеллажом с книгами.

На двух дальних от входа стенах нарисована двойная птица: на одной стене она – птица лета, на другой – птица зимы. Одно крыло у неё – радужное, огненное, а другое – полно метелей и замёрзших оконных узоров, а шейка и голова птицы – на летней стороне, а хвостовое оперение – на зимней.

Девочка проснулась в своей детской кроватке и теперь разглядывает радужное оперение на летнем крыле удивительной птицы.

А на углу двух улиц в это время уже появился ребёнок, которому всегда пятнадцать. Там, где блестит асфальт, а старые деревья с тёмными морщинистыми стволами склоняют-

ся к одноэтажным деревянным домам. А посмотришь внимательнее – ни деревьев, ни этих старых домов – только длинная девятиэтажка и разноцветные автомобили... Впрочем, вздор. Вот же специально кто-то выпилил в заборе выемку для наклонного ствола старого, морщинистого тополя. Вот же крона его простирается над двориком и крыльцом, а вот палисадник с травой и песочницей – и кто это там, в песочнице, с коленями, перепачканными песком и глиной, убеждает кого-то горячо, взмахивая рукой и откидывая чёлку? Я?!..

...Я растерялся. Память была сильнее всего остального – она просто сметала всё на своём пути – и этот поезд, и этот тамбур, и меня самого, почти взрослого, уставившегося во тьму ночи и в бледные, плывущие на горизонте огни... И – другого – тоже меня, того, кто всё это пишет... Всё смела напрочь. Но и сама не выдержала своего собственного напора, сверкнула как поверхность громадного мыльного пузыря – пузырь лопнул – и остался только прозрачный, разряжённый воздух внутри и снаружи.

Я растерялся. Я, кажется, перестал понимать самые простые вещи.

Например, зачем я еду теперь в Питер? Почему именно я, а не кто-то другой? Разве не мог бы кто-то другой теперь носить моё имя, ждать встречи с Витькой, горевать о ссоре с девушкой Алисой? И почему именно вот этого меня я чувствую собою и называю местоимением первого лица един-

ственного числа именительного падежа, когда говорю что этот самый «я» поехал или пошёл туда-то и туда-то, или сделал то-то и то-то? Дурацкий, ненужный вопрос? А по-моему, это все остальные вопросы дурацкие, если на этот не отвечено.

А на этот – не отвечено.

Да и как на него можно было ответить теперь, когда никакого поезда, никакой девушки Алисы, никакого Витьки – ничего этого во мне не было – а была – и дышала во мне – степь бескрайняя, звёздная, незнакомая, напоённая странным, неведомым, оранжевым ветром, глядящимся, словно в зеркало, в резкий глубокий закат. И был океан безбрежный и бездонный, распротёртый куда-то, неведомо куда и неведомо когда, веющий бризами, дыханием своим накатывающий на берега облаков...

Всё это только одно мгновение, один штрих в пространстве, но это мгновение и этот штрих никогда не кончаются и не могут кончиться, потому что не ведают – что такое конец. Здесь нет и не может быть никаких циферблатов, никаких двенадцати часов, никаких перекрещённых латинских букв – и вообще – никаких букв и цифр. А что же здесь есть? Или кто?

Тогда представился мне человек, юноша, почти мальчик, живущий на нашей планете давным-давно. И его мама представилась. Будто бы кочуют они уже много веков из горо-

да в город, и всегда оказывается почему-то, что живут они на шестом этаже в какой-нибудь пятиэтажке. Причём мама ничего не замечает.

А дальше начиналась история мальчика – как он здесь появился и для чего, и какие с ним приключаются вещи.

Стало мне, например, ясно, что он может делать некоторые чудеса – но не всякие, и вообще – с его точки зрения никакие это не чудеса.

...Стекло передо мной запотело от моего дыхания. По зелёной двери медленно ползла маленькая божья коровка. Было поздно. Около двенадцати часов. Поезд шёл в чистом поле – даже огней никаких теперь не было видно. Стало холодней. Сильно дуло по полу. По стеклу всё сыпал и сыпал дождь. Поезд набирал ход, и капли, падающие на стекло, превращались в длинные, тонкие, размазанные полосы.

Глава третья. Развилка

Витька махал мне рукой с платформы. То есть, это я только через пару секунд понял, что Витька. А сначала я увидел незнакомого человека, одетого элегантно – и – мне показалось – дорого.

Ну, действительно – как мне ещё могло показаться? Светлые кремовые брюки без «стрелок» – потому что им не нужны были «стрелки», настолько они были «в обтяг», слишком светлый и какой-то подчёркнуто иностранный пиджак и слишком тёмная рубашка под пиджаком – и воротничок у рубашки СЛИШКОМ короткий, я и не знал, что такие бывают на свете, а ботинки – на толстенной подошве – эти точно были с другого материка, с того самого, где раньше бизон был видимо-невидимо, а теперь вот таких ботинок – хоть завались, и может быть одно связано с другим?

В довершение всего на нём были фирменные очки-«капли», которые в нашем родном городе ещё только входили в моду.

– Привет, – сказал он, когда я оказался на платформе рядом с ним, – чего ты так странно смотришь?

– Привет, – сказал я, – так ведь предупреждать же надо...

– Ты насчёт прикида? – он небрежно махнул рукой: – не обращай внимания. Это спецодежда.

– В каком смысле?

– В обыкновенном. Посмотри вокруг.

Я посмотрел. И мне стало понятно о чём он. Я в своих брюках со стрелочками и в уралобувских ботинках с каблук-ком выделялся из толпы. А Витька не выделялся. Только за-чем это ему – не выделяться?

– А без спецодежды никак нельзя? – полюбопытствовал я.

– Можно, – он поморщился, – если любишь общаться с кем попало, а я что-то не люблю. Цыганки, менты... Все тебя, как приезжего, норовят сделать клиентами.

– А мне что, тоже придётся всё это носить? – продолжал я удивляться.

– Глупости-то не болтай, – буркнул он, подхватывая один из моих чемоданов, – кто тебя может что заставить... Здесь только мои вещи?

Он имел в виду чемодан в своей руке. Все вещи у меня в мой не влезли, в Витькином была пара моих рубашек и ещё какие-то мелочи.

– Нет, – ответил я, – мои тоже...

Я на минуту остановился.

– Забыл что-то? – сказал Витька.

А я не забыл. Скорее, вспомнил: на секунду показалось, что всё это мне знакомо: вокзал, чемоданы, Витька, мелкий, морозящий дождь и фирменная одежда вокруг. «Здесь только мои вещи?» Пауза. «Нет, мои тоже».

– Дежа вю... – сказал я.

– Чего? – переспросил он.

– False memory, – пояснил я, – ложная память.

– А попроще? – потребовал он. На мой взгляд, проще-то было уже некуда. Вот так с Витькой всегда. Антошка бы не стал требовать, чтоб попроще. Просто, спросил бы – что значит, и я бы рассказал.

Но Витьке я не стал бы рассказывать. Он только разозлится. Мол, выдумываешь невесть что. Поэтому я сказал только:

– Да так, фигня. Не бери в голову.

Но он почувствовал фальшь и фыркнул.

– Не злись, – попросил я.

– А кто злится-то... – сказал он, хотя и ежу было понятно кто. Я же говорю – так всегда. Я даже сразу стал жалеть, что приехал. Только раздражать его буду. Но бывает же он и другим, не может быть, чтобы всегда вот так – наперекосяк!

– Слушай, Витька, – сказал я, снова останавливаясь, – ты не рад, что я приехал, да? Я тебя раздражаю?

– Пошли, – сказал он, – чего ты всё время останавливаешься? Вон зелёный загорелся, пошли скорей.

Тут я заметил, что мы уже давно вышли из вокзала и стоим на обочине какой-то улицы, образующей острый угол с Невским, а в иссиня-сером небе, в конце Невского, тускло блестит шпиль Адмиралтейства. Я автоматически двинулся за Витькой туда, куда он вёл, хотя не очень-то понимал – куда, собственно. Оказалось, в булочную. Точнее, не в самую булочную даже, а в конце булочной был кафетерий – так вот туда.

– Слушай, – сказал я, – чего мы тут забыли?

– Я есть хочу, – сказал он, – ты, по-моему, тоже не завтракал. Так куда нам идти в таком случае? В обувной?

– Откуда ты знаешь, что я не завтракал? – удивился я.

– Чушь всякую несёшь всё утро, вот откуда. Тебе три беляша? Или четыре?

– Два, – сказал я.

– Вон туда, к окну садись.

Я послушно сел к окну. Сидел и думал, что, наверное, я просто отвык за лето от Витьки, вот и всё. От его манеры говорить. Привыкну снова – и всё будет хорошо, нечего паниковать раньше времени.

...Теперь, когда я вспоминаю что было, то вижу череду странных дней, себя, погружённого в эти дни – в дождь и солнце, в ночь и утро, в запахи и состояния, в смех и боль, в рассеянность и страдания, и я вижу Витьку – всегда очень разного, часто непонятного и почти чужого, но – человека, ближе которого у меня никогда не было. И не будет.

Остальное – обрывки – словно декорации, наложенные на действия. Может, я специально забыл Ленинград? Чтобы и всё остальное забылось... Только Университет на Васильевском не забылся, потому что никогда я раньше наяву не видел таких длинных коридоров. И такого бесконечного количества книг на полках стеллажей.

И Невский, потому что таких улиц не бывает.

И Исакий.

И атланты.

И корабли Финского залива.

И дождь.

И как Дима заправляет плёнку и нажимает «воспр.» и тогда остаётся только ветер и грохот волн, и крики чаек.

И как дочка штурмана смеялась, что я не умею есть сосиски без ножа.

И дядьку в метро, принявшего мой «дипломат» за этюдник.

И Гостиный Двор, и финский шампунь «Ponds' Ballanced Protein».

И эту странную свалку – ржавые остовы автобусов и катеров вперемешку, обломки ржавых труб, какие-то клочья пыльной, чёрной резины, полуистлевшей, растающей в землю.

И как я внезапно решаюсь сказать, что всё это – не по мне.

И какой слышу ответ.

И как я понимаю, что тем более не могу остаться, и как результат этого, в моём кармане оказывается авиабилет.

...Но был один момент – словно прорыв в ДРУГОЕ.

Впрочем, начиналось всё обыкновенно. Мы были в гостях.

Сидели за маленьким столиком в старой коммуналке и пили кофе с ликёром. Дима – хозяин – красиво курил до-

рогие сигареты, а Наташа – его жена – готовила мясо по-Бургундски.

Потом Дима заправил плёнку и нажал «пуск» – и комната исчезла. И Дима исчез, и Наташа, и сигареты, и кофе с ликёром. Только Витька почему-то не исчез.

Наверное, Дима и понятия не имел – что он делает, нажимая «воспр.»

А он просто убрал всё.

До сих пор я думаю, что в этот момент реально существовали чайки, прибой, ветер, Витька и я.

Так может, тогда-то всё и началось? Ничего не подозревающий Дима – это ты подорвал на корню реальность? Ты завёл будильник, который меня разбудил?

Да нет, конечно. Всё началось раньше. Года на два, или на полтора, точнее теперь не сказать.

Всё началось с рассказа об одном ночном странном визите. Это нас с Витькой разделило? Раньше я думал, что чудеса бывают только в книжках. То есть, что чудес не бывает. Иногда мне хочется, чтобы всё стало как раньше. Но это несерьёзно, потому, во-первых, что это невозможно – ну и достаточно этого «во-первых».

Дима нажал «воспр.», будильник прозвенел, всё стало другим. Да?

Я и теперь не уверен, что всё было именно так.

В начале были одни разговоры. Чудеса начались потом.

Витька не верил в разговоры. А не в чудеса. Вплоть

до РАЗВИЛКИ. Я не мог простить ему, что он не верит в болтовню, а ведь это было совсем не важно. Какая разница – кто и во что не верит? Просто, ещё не прозвенело. Прозвенит – тогда и посмотрим.

О развилках.

Если существуют развилки времени, то мы оказались на одной из них. Направо пошли и налево пошли. Одновременно. Но оказались-то здесь. А там, где всё случилось по-другому, что там с нами произошло?

Мимо чего мы проскочили здесь, думая, что надо спешить дальше?

Здесь исчез Витька. Потерялся на развилке. Расплылся у меня на глазах и стал воздушной рябью (растаял – год за годом, как осколок льда... Красиво, блин, да?)

Совершенно недостаточно просто сесть на поезд и отправиться на его поиски. Даже если бы я знал адрес.

А я не знаю адреса.

Когда-нибудь, наверное, и на той части развилки в его стёкла ударит ветер. Но – там и тогда – ничего я не мог поделать. Только сесть в самолёт.

Зато сейчас – могу. Могу увидеть – как всё могло быть. Коснуться ОТСЮДА. Есть странная надежда: это может всё изменить.

Глава четвёртая.

Переулоч Медиков

...Как всё началось?

Мне было пятнадцать. Был день рождения. И было уже темно, потому что была, как нетрудно догадаться, осень.

Вообще-то, я люблю осень, но сейчас не стану отвлекаться на неё. Потому что начнётся – тонкий ледок да звонкий голосок. Да листья такие-растакие разноцветные. А ведь это всё действительно так.

И ещё была куча друзей, что само по себе немаловажно. Сейчас такой кучи нет, ну оно и понятно. Не май месяц. В смысле – не мальчик уже. А тогда, хоть и тоже был не май месяц, хоть и осень была, а друзей было много. Все они потом куда-то порастерялись. Выросли, и всё такое... А на самом-то деле, наверное, я не умею дружить – это ведь тоже, знаете, искусство.

Ну вот, открыл окно. Слышу речку. Может, потом и совишка покричит, а то есть ещё тут такая птичка ночная – совершенно мне не известная – так она тоже покрикивает иногда, но – реже... Она тихо совсем вскрикивает и тонень-

ко. Жалко её, конечно, из за таких криков. Сову не жалко, она большая. Дневных пичуг не так жалко тоже – у них есть солнце. А вот когда ты маленький, и ночь, и надо лететь куда-нибудь – вот тут-то поневоле закричишь тоненьким голоском, так что какому-нибудь типу с открытым окном, который как раз уселся за компьютер... (etc)

Был вечер, был город и было темно. И все вели себя как попало. Свечи зажгли, ясное дело, как без свечей...

Конечно, к этому шло. А потом были и другие вечера.

Мы – просто резонаторы. Со степенями свободы: от любви до греха. Если резонатор звучит на обеих частотах, он разрушается. Он – а не любовь и не грех.

Кто-то помог потом. Я не знаю кто. Кто-то молился за нас Богу, или кто-то, кто сам – Бог, просто помог.

...Итак, я пил уже пятую или шестую чашку чаю, и очень не хотел домой, потому что было удобно и комфортно. И хотя пластинку переворачивали уже не в первый раз, а в стенку время от времени стучали – и сообщали нам – сколько времени – было абсолютно ясно, что если что-то и заставит меня встать и пойти домой, то это только чувство долга. А оно сегодня что-то не торопилось. Не торопилось, не торопилось – а потом и говорит человеческим голосом:

– Ну ладно. Пожалуй, пойду.
Оказалось, это мой голос.

И вот мой длинный шарф, и поцелуй у двери, и эта нелюбовь не хуже, чем любовь.

А что ещё скажешь, ну просто стихи такие, вероятно, дурацкие.

Перевалило полночь, и все троллейбусы уходили в парк на повышенных скоростях.

Предстоял путь пешком.

Я вышел из подъезда, и ветер сразу осыпал меня ворохом сухих листьев.

В голове ещё играла музыка, а на губах ещё не простыл вкус поцелуя, но ветер как ударил меня... И ещё раз, в лицо, прямо в губы, а потом – по щекам – с одного боку, потом с другого. И опять по губам! А потом неожиданно как толкнёт в спину – да такой плотный! Да так сильно!

Он словно хотел сказать – без любви целоваться? На, получай... С ней целоваться? На, ещё получай, по щекам получай!..

Нет, я его прекрасно понял, этот ветер. Я и сам знал, что так нельзя – не почему-нибудь – а просто, нельзя и всё.

«Это я сам себе надавал ветром по щекам?» – думал я,

и ещё я думал, точнее, говорил про себя: «Я больше не буду, ветер...» – и это было глупо, наверное, и, может, я всё выдумал, но по-моему следующий порыв был похож на слова. И слова были:

– Попробуй ещё только хоть раз.

И жёсткий, хотя и чуть мягче предыдущих, толчок в лицо – и сразу – в спину.

...А потом я шёл по городу и ни о чём не думал. Точнее, я думал, наверное, но это всё было только одно слово: ветерветерветерветерветер... – и так бесконечно, только с каждым повтором и с каждым порывом что-то освобождалось во мне всё больше и больше, словно разматывалась длинная, липкая паутиная верёвка, петлями падала позади, и всё меньше витков оставалось на мне, и я становился всё легче и легче, а сердце билось всё горячеей, и небо летело навстречу прядями низких туч, и листья шуршали и бились во тьме, и музыка делала шаги по одной из невиданных лестниц, и скорость её всё возрастала, а горло саднило от странных слёз, каких я раньше не знал.

Я вышел на угол узенькой улицы, перегороженной покосившимися бетонными столбиками. Помедлил и решил пройти за эти столбики.

Есть такие улочки: глянешь – и пройдёшь мимо, а потом всегда думаешь – а что, если бы свернуть? Странно, но я действительно никогда не представлял себе – куда можно выйти таким путём.

Прохожих не было. Я шёл мимо странных двухэтажных домов, с какими-то вдавленными балконами. Ни в одном окне не было света, даже отблесков телеэкрана я не заметил нигде.

Пахло здесь не так, как на большой улице: кроме запахов бензина и сухих листьев я почувствовал едва заметный аромат сосновой смолы, старых досок, мокнущих под дождём – и ещё почему-то жареной рыбы. Так пахнет в маленьких городках, где соседи могут играть во дворе в шахматы, и все знают друг друга, и детей накормят в любой квартире, если родители куда-то ушли и их долго нет.

Мне раньше хотелось жить в таком доме, в таком маленьком городке, и со всеми здороваться, и обмениваться новостями. Впрочем, я, наверное, идеализировал такую жизнь: на деле у неё куча минусов. Главное, в одиночестве тебя точно не оставят, даже если очень захочешь.

Но сейчас здесь никто меня не знал, да и кому интересно, кто тут ходит по ночам? Собак нет, дворики городские, с качелями и песочницами. Все спят... Странное место. Неужели это тот же самый город? И в трёхстах метрах отсюда – Центральный Стадион, кафе «Золотая Шайба»? Не похоже.

«А на что похоже?» – спросил я себя. И понял на что: на сон.

Что я выбрал в тот момент, когда решил срезать, не идти мимо Стадиона? Я ведь уже сворачивая, знал: меня ждёт непонятное.

Это было как будто где-то далеко-далеко соло-гитара взяла несколько высоких нот. Аккорд её почти прояснился – и затем внезапно был оборван. Только отзвук звенел и звенел, постепенно затихая. И когда казалось, что вот он уже затих окончательно – аккорд внезапно придвинулся вплотную. Теперь он был объёмным, глубоким, вездесущим, пронизывал пространство ночи, пульсировал и дышал в каждом порыве ветра, и ветер наклонял деревья, и дождь падал на землю – всё по велению этого аккорда.

И сердце моё тоже стало биться в гармонии аккорда, и я не знал – что это значит. Я стоял и ждал, и показалось мне, что сейчас зазвучит какая-то такая музыка, что и представить нельзя. А пока длится и длится вступление, как волна накатывает – так же нарастает его голос.

Я стоял и ждал, и вслушивался, и смотрел на всё вокруг изменившимися глазами. На эти дома. На эту водяную пыль в ночном воздухе. Я слушал далёкий рёв автобуса, как слушают сигнал трубы, и всё приближался и приближался тот момент, когда мне станет совершенно ясно – чего я ждал. Не только в эти несколько минут, а всю жизнь.

И тут через меня прошла тончайшая грань. И словно вынули вату у меня из ушей. Словно содрали повязку с глаз. Словно сняли невыносимый груз с моего сердца – и я увидел и услышал и узнал то, без чего вообще не имело смысла рождаться и жить. Что же? Как это объяснить?

Но это было слишком для меня. Это было концом всей

моей жизни – той, что была до сих пор. Это не давало возможности быть, как прежде.

Но что же?

И куда теперь – с ЭТИМ? Кому... Нет. То есть – к кому? Да нет же, не то...

И пока я путался и пытался найти в себе место для того, что не имеет места... – ЭТО прошло.

Я не думал, что будет так, честно, не думал. Мне казалось, что должна открыться какая-то дверь, и я войду – и на этом закончится вся печальная игра, и настанет нечто совсем другое. Но не открылась дверь. Или – открылась, а я не шагнул. Не сумел. Не решился. И что же теперь? А то, понял я, что я остался здесь с этой памятью и полным неумением понять – куда мне теперь идти и что делать. Раньше-то ведь я думал – ну проживу жизнь с какой-нибудь такой пользой для себя и для других – как все... Вот именно, как все. А теперь?

Даже ветер теперь стих, словно сделал своё дело – и ушёл куда-то – есть ведь у него и другие дела...

Ну кто я, кто я? Кто мне скажет? Зачем я? No answer.

Пошёл дождь. Причём довольно сильный. Стояли вокруг меня странные деревянные дома. Стояли и молчали. И я стоял. Потом я понял, что не вечно же мне тут стоять. И пошёл куда-то. Мимо домов, мимо детских качелей, мимо мокрых деревьев... Мимо. Шёл и шёл, и несколько бы я тогда не удивился, если бы мне сказали, что я уже умер. Или – что мне

теперь всегда надо будет вот так идти неизвестно куда, и никогда больше не будет ничего кроме этой ночной дороги под дождём.

Впрочем, одна надежда жила во мне. Надежда на то, что если это какой-то знак, то он должен повториться.

Не знаю – долго ли я шёл. Вообще-то впоследствии я много раз ходил по этой улице. И никакая это была не улица, а переулок.

Всего-то несколько домов. Я читал о таких вещах, но не очень-то верил, что со мной может произойти нечто подобное. Дело в том, что из начала переуллка прекрасно был виден его конец. И прекрасно видно было, куда этот переулок выходит: на улицу ...скую, по которой троллейбусы ходят. И троллейбусы были великолепно видны.

Это потом. А тогда – тогда всё было не так. Никаких даже троллейбусных проводов я не видел, ничего подобного, а просто я всё шёл и шёл, шёл и шёл, и дождь не кончался, и улица тоже не кончалась.

То есть, переулок. Ни фигя себе, переулочек.

В конце концов я просто устал идти и остановился передохнуть. Довольно удачно остановился. И дождь сразу перестал, и скамейка какая-то очутилась у меня прямо перед носом. Мол, садитесь пожалуйста, раз устали. Ну я и сел. И как-то так получилось, что прямо передо мной оказался один из этих странных домов с вдавленными балконами. И номер

дома я запомнил, наверное, на всю жизнь.

Сто тридцать шесть. Теперь меня можно ночью разбудить и спросить – какой был номер у того самого дома в переулке Медиков? И я отвечу правильно. И вовсе не потому, что у меня память хорошая. Память у меня хреновая.

А из-за того, что случилось дальше. Потому что если до сих пор всё это можно было воспринимать как нормальную реальность с отклонениями влево-вправо, а отклонения эти приписать моей неустойчивой психике, и была надежда на то, что психику как-то можно подправить – то после того, что случилось позже, надежда эта пропала для меня навсегда.

Теперь меня можно сделать дебилом в какой-нибудь психушке, но ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО.

А было так:

Странная мысль посетила меня на этой скамеечке. Отчего-то бросилось в глаза окно на втором этаже сто тридцать шестого дома. Окно это светилось, закрытое изнутри оранжевой шторой, и на фоне этого оранжевого света был виден силуэт какого-то человека, склонённого над письменным столом и что-то пишущего, или читающего – в точности было, конечно, не разобрать.

И я подумал: вот, произошло со мною что-то. Я не знаю – что. Пересекла меня некая грань. Или я её пересёк, без разницы. И теперь всё у меня внутри переделалось по-другому. Я стал иным за несколько секунд. И вопрос – куда идти

и кому об этом можно рассказать, может быть и праздный с точки зрения постороннего человека, вдруг стал для меня совсем серьёзным. Я просто не мог НИКОМУ НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ.

...А все спят. Все абсолютно. И будить их – дело дурацкое и неблагодарное. А этот – не спит!

Вон он там теперь сидит за шторой и что-то пишет, или читает – неважно. Может это неспроста? Может быть он-то меня и выслушает? Не прогонит, не поднимет на смех, не станет ругаться или крутить пальцем у виска, или глупо утешать, или разводить руками, или ещё как-то валять дурака? А может быть, он вообще ЗНАЕТ о чём всё это?!

Когда идея созрела, человек обычно пытается её осуществить. Иначе какой от неё толк?

Ну так вперёд, сказал я себе.

Встал со скамеечки и пошёл прямо к подъезду.

...Всё было просто. И дико. Получилось сделать от скамейки к дому лишь несколько шагов. А потом улица начала проворачиваться под ногами вхолостую, как эскалатор, если идти в направлении обратном его движению.

«Если шаги не приближают подъезд 136-го дома, то надо бежать – но не «от», а «к». – решил я.

И побежал.

И ничего почти не изменилось. Только ветер вдруг поднялся и пошёл снег.

Ветер и снег стали хлестать мне в лицо; было холодно

и больно. Но это меня не остановило. Может, только рассердило. И заставило бежать быстрее, и сильнее отталкивать ногами землю. Снег нёсся мимо с какой-то неправдоподобной скоростью, словно я был не человек, а реактивный снаряд на взлёте. Даже как-то характерно и тонко хрипел вокруг воздух, разрываемый мной на этом диком бегу, и воздух мерцал, пытаясь заново сомкнуться вокруг меня, мерцал и уплотнялся подобно матовой линзе, всё сильнее и сильнее выгибающейся передо мной. А может, это был не воздух? Я стал чётко различать перед собою странную, текучую, зыбкую линзу, и сквозь стук собственного сердца начал уже слышать отдалённые и нарастающие птичьи крики, словно стая фантастических, нездешних чаек всполошилась не на шутку и приближалась, невидимая и грозная, готовая остановить незваного пришельца. Пришельца? Но откуда – и куда?!

А затем я их увидел. Это случилось как раз в тот момент, когда мне показалось, что дом номер 136 всё-таки не совсем неподвижен. Дом приближался, только страшно медленно, словно тяжёлая баржа на прибрежных волнах, когда за час её может прибить к берегу всего на пару метров – такая она тяжёлая и неповоротливая...

Я был баржей, а дом – берегом, и этот берег смеялся мне в лицо сквозь хлещущую пелену колючего снега и застилающий глаза ослепительно белый свет матовой, выгнутой до последнего мыслимого предела линзы.

Вокруг бушевало электрическое, белое сияние, и звон в ушах стоял такой, что теперь я даже и собственного сердца не слышал. И было очень холодно и больно.

А потом раздалось непонятное и тяжкое – «хлоп!!!» и линза лопнула, и впереди замаячил внезапно чистый, проходной путь, полный тёплого, плотного морского дыхания, и вот солёная взвесь нахлынула на меня, и это были брызги океана...

Под ногами был уже не асфальт, а мокрая морская галька и спрессованный в полосе прибоя песок, и я только успел посоветовать про себя, что песок хотя и спрессован, но всё-таки затрудняет движения – я просто не успел понять, что хватит мчаться вперёд и вперёд, я по инерции продолжал двигаться и я, наверное, окунулся бы с размаху и сходу в накатывающую на берег океанскую волну, но тут-то и появились птицы.

Они налетели яростно и страшно, но сами-то они были вовсе не страшные: они были красивые. Такие красивые, каких я в жизни никогда не видел – ни во сне, ни наяву.

Я потом пытался их рисовать – только ничего не получалось, получались какие-то уродливые полу-чайки – полу-фламинго.

Они налетели белоснежной волной. И сбили меня с ног.
Почему?

Не было времени думать.

Всё стало повторяться с той жуткой периодичностью, что бывает только во сне. Что же, может это и был сон?

Белоснежная стая сбивала меня с ног, я поднимался и снова меня сбивали, и я падал на мокрый и солёный спрессованный песок в полосе океанского прибоя, и накатывал язык шипучей длинной волны – а я и не чувствовал совсем ни песка, ни брызг, и я почти ничего не видел – только мелькание крыльев, и почти ничего не чувствовал – только боль. Я видел, что откуда-то взялась кровь, и понимал, что это моя.

И тут я разозлился по-настоящему.

За что они меня так?

Разве я сделал им что-нибудь плохое?

Я просто пытался дойти до подъезда. А мне сначала подставили вертящуюся землю, а когда поняли, что это меня не остановит, напустили белых прекрасных птиц?

Так что же, если они прекрасные и белые, им можно бить кого хочешь?

Может, надо им дать забить себя насмерть за то, что они такие белые и прекрасные?

– Ну всё, – сказал я кому-то.

Я пытался в очередной раз подняться. Я не чувствовал уже ничего, кроме невыносимой боли и слепого бешенства.

– Вы сами виноваты...

И я ударил.

Потом ещё раз.

И Ещё.

И ещё...

Я старался не смотреть – что происходит с теми существа-

ми, которых я бью. Но я не мог не смотреть. И я видел, что те, кто были живы и прекрасны становятся мёртвыми.

Но я бы, наверное и дальше продолжал бить, теперь я уже знал КАКИЕ это птицы, ещё лучше понял, что они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО невыразимо прекрасны, ещё лучше рассмотрел их громадные нептичьи глаза – и это меня не остановило бы... Остановило другое.

Среди птиц вдруг появились слепые.

Даже не просто слепые – а вообще без глаз.

Вот этого я выдержать уже не мог.

Они не знали – куда они летят. Не видели.

В какой-то момент кадр застыл, и следующая секунда растянулась надолго, и я долго-долго видел перед собою застывший в воздухе, замерший, абсолютно неподвижный силуэт – огромные, неправдоподобные крылья, изогнутая морская шейка и беззвучный крик из раскрытого прекрасного клюва.

Я пропустил удар. Потом ещё один. И ещё. Я всё-таки сумел подняться...

«Сразу надо было уходить», – мелькнуло в голове.

И сразу – ещё одно – словно чужая мысль:

«Эх ты, убийца птиц...»

Я побежал. Сначала увязая в песке, потом отталкиваясь от асфальта – и падая уже в снег – рыхлый и мокрый, пополам с грязью и какой-то щебёнкой, я весь изодрался и испачкался – да разве это было важно?

Почему-то получилось так, что солнце уже взошло. И почему-то несмотря на это во всём переулке Медиков – а я как-то очутился опять в переулке Медиков – не было по-прежнему ни одного человека. Солнце отбрасывало золотые и алые лучи на всё вокруг, и меня продолжала – гнать, гнать, гнать вниз по переулку алая с золотом стая, состоящая теперь из одних только слепых птиц, и я больше не отмахивался даже – а только бежал и бежал, сгибаясь под ударами их крепких, слепых клювов, бивших и щипавших меня в затылок, в шею и в щёки, норовивших лапками разодрать на спине куртку...

...Потом – как-то сразу – всё кончилось. Я плохо помню что было дальше. Помню только, что было какое-то сумасшедшее такси, которое почему-то остановилось, несмотря на мой дикий вид, и ещё помню, что не мог открыть дверцу такси – а потом внезапно догадался, что ведь дверцы тянут на себя, а не толкают.

Видимо, я умудрился правильно назвать адрес, потому что очнулся у своего подъезда, только вот с деньгами вышло нехорошо: вместо денег у меня в кармане были только птичьи перья, а я не сразу это понял – и стал совать их водителю такси.

Последние слова водителя были: «Сумасшедших вот только ещё и не возил...» На самом деле он сказал грубее.

Затем машина взревела и умчалась, сама силой инерции захлопнув нужную дверь, и я остался один под мокрым сне-

ГОМ напротив собственного подъезда...

Глава пятая. Мост на ту сторону

Как я попал в свою комнату, когда я успел раздеться и кто так аккуратно сложил мою одежду? – это мне так и осталось неизвестно.

Проснулся я поздно. Вообще, скорее даже не проснулся – очнулся. Всё у меня болело. Затылок болел, и всё тело, и лицо почему-то, не говоря уже о руках и ногах. И кроме того сильно и нехорошо ныло сердце.

Сначала меня заботила только одна проблема – как добраться до ванной, чтобы не наследить своей дурацкой кровью, чтобы бабушка ничего не заметила (дед и мама были на работе).

А может, я уже наследил и всех перепугал, и теперь начнутся тягостные расспросы... Вот так я думал, и вроде бы это действительно имело для меня значение, но на самом-то деле было только экраном, по которому бледно-багровым шрифтом, с пугающей непрерывностью, шла сплошная строка из одного слова: ПТИЦЫ.

Слово это состояло из боли. Но одно дело – страдать от боли, и совсем другое – быть мёртвым.

Отрубиться бы как-нибудь снова, думал я. Невмоготу думать и чувствовать. Да вообще – жить. И ведь это теперь навсегда, понял я. На всю жизнь.

Я попытался взять себя в руки. Надо что-то делать, убеж-

дал я себя. Как-то исправить то, что сделал. Как?

Оживить птиц?

В ванной, в аптечке, нашлась стерильная вата и одеколон. Я обработал все свои раны и ранки одеколоном. Конечно, было очень больно, и пахнуть от меня стало как от парикмахерской, но это всё ерунда.

Я оделся и вышел по возможности быстро и бесшумно. Бабушка смотрела телевизор в большой комнате и ничего не заметила.

Я спустился на лифте до первого этажа, и пока спускался внимательно разглядывал пол лифта. И на площадке первого этажа тоже разглядывал: искал засохшие пятна крови, что твой Родион Романович. Почему-то никаких пятен нигде не было. Может, кто-то уже убрал? Но всегдашний мусор – бычки, старые пачки из-под сигарет всё было на месте. Странно.

Я вышел на улицу. Подморозило. Ледок похрустывал под каблуком. И солнышко светило. Ранние заморозки... И пахнет отчего-то арбузными корками. Как всегда, если снег рано выпадает. Насыпало немного, поверх ледка, и долго не продержится, скоро опять будет мокреть и грязь – это уж известно. Каждый год такая погода. А воробьи будто рады ранним заморозкам, снегу...

Я вышел на Главный Проспект, и тут меня окликнули. Оказалось, Алиса.

Вчера бы. Или завтра. Но уж никак не сегодня. Я ведь и го-

ворить-то по-человечески, наверное, разучился. И распросы...

Но никаких расспросов не было. Была тревога.

– К тебе собиралась, – сказала Алиса, – знаешь, что-то не по себе. Показалось, у тебя что-то не так.

Мы стояли на обочине тротуара, у самой бровки. На ней была новая зимняя курточка и старые канадские джинсы, стиранные-перестиранные. Как будто она второпях одевалась. Кроссовки летние для чего-то надела, хотя холодно... И без шапки, как всегда.

Она молча пинала какую-то ледышку. Ледышка отскакивала от обледенелой бровки и радостно летела обратно к Алисиным ногам, как разыгравшаяся собачка. При этом раздавалось негромкое глуховатое звяканье. Потом всё повторялось.

Было тревожно. Снова заныло отпустившее было сердце.

– А ты почему не на работе? – спросил я, – Ширвин тебя убьёт.

Я сказал – «убьёт» – и резкая боль рванула меня за горло...

Боль – и холод. Но она ничего не заметила. Смотрела в другую сторону.

– Не убьет, – равнодушно сказала она, – я отпросилась. Всё равно работать не могу.

– Почему?

– Не знаю... Противно.

Что-то надо было сказать немедленно. Что-то безобидное, нейтральное...

– Пошли тогда кофе пить, – сказал я, – ты же совсем замёрзла.

Она нерешительно улыбнулась, словно ей на самом деле вовсе не хотелось улыбаться.

– Значит, – сказала она, – с тобой всё в порядке?

Вот оно. Ну ладно...

– Вообще-то, – сказал я, – нет. Только не пугайся. Все живы... – я сказал дежурную фразу, но ведь она не годилась. Не все были живы. Но отступать теперь было нельзя, и я закончил:

– Пошли всё-таки сначала кофе пить.

Она молча кивнула. Только не улыбалась больше.

– Только недолго, – сказала она чуть погодя. Мы шли по Главному Проспекту в поисках какой-нибудь кафешки, но все они были либо закрыты, либо слишком дороги для нас. Про «недолго» она забыла.

Затем мы свернули на Пушкинскую, а там углубились в узкие старые улочки, у которых я даже и названий-то не знаю. Теперь, кажется, улочек этих больше нет.

Помню старые странные дворы, полуразрушенные гаражи и сараи, занесённые снегом. Помню рыжего кота, который хотел идти с нами, и даже пошёл, но вскоре раздумал и куда-то делся.

В конце концов мы заблудились. То есть, мы примерно

представляли – где центр, где Юго-запад, но вот откуда взялась река, и что это за река, да к тому же ещё такая широкая?

Мы стояли и смотрели на реку. Мы не могли узнать здания на другом берегу.

– Место какое-то незнакомое, – сказала она, – куда это мы попали?

Я молчал.

Потом не выдержал.

Следующие пять или десять минут я почти не помню. Знаю, нельзя делать из девушек жилетки, настоящие мужчины так не поступают. Но...

– Слушай, – сказала она, – это всё правда случилось с тобой? На самом деле?

Я кивнул. Чуть-чуть, вроде, отпустило. Самую малость. Она смотрела на меня как на тяжело больного. Ну а что было делать? Не мог я больше молчать и всё.

– Смотри, вон мост, – сказала она.

Дальше по берегу и правда был виден мост. На ту сторону реки. Только при чём здесь мост. Я поймал себя на том, что медленно покачиваю головой, и, кажется, тихонько постанываю. Для кого это я? Для неё? Или всё само-по-себе происходит? Ну! Что надо дальше-то делать? Или говорить? Ничего не понимаю... Бред какой-то. Ну!

– Лёша, – сказала Алиса, – ты меня слышишь?

Я понял, что слабо реагирую, но почему-то не хотелось говорить. Я кивнул, мол – слышу.

– Ты куда собирался, когда меня встретил, – сказала она, – снова туда? В переулок?

– Да, – сказал я.

– А теперь?

– Может, по мосту? На ту сторону?

– Ну... если хочешь. Только зачем?

– Не знаю. Может, там кофе где-нибудь есть... Или...

Не знаю, Алиса. Правда, сам не знаю.

Но всё-таки меня уже и правда отпустило. Уже было не так холодно внутри. Не так больно. И я уже мог всё-таки что-то говорить. И даже, наверное, опять мог куда-нибудь идти.

– Ты всё ещё хочешь кофе?

– Собственно, нет, – сказал я, – теперь бы чего-нибудь по-настоящему.

– стакан рому.

Я вздохнул несколько раз. Ну, улыбнись, сказал я себе. Пора уже тебе улыбнуться. Что-нибудь такое скажи, ты же поэт, ты выдумщик. Где твоя выдумка? Выдумывай давай. С детской непосредственностью. Что там насчёт рому? Ром – это откуда-то из книжек, да? Точно, из книжек. И я – улыбнулся. И сказал:

– Так всегда в книжках разговаривают, да?

– В журналах. В «Иностранке».

– Так опять же – значит, в художественных произведениях.

– Откуда ты знаешь, может о нас уже написали. Или напишут.

– Пойдём через мост, – сказал я, – посмотрим – что там. Пойдём?

– Пойдём, – сказала она.

И мы пошли. Под ногами по-прежнему похрустывал лёд, иногда – заледенелая, блёклая трава. Небо затянуло сизой зимней дымкой, какая может иногда неделями висеть над городом. В такую погоду даже ветра настоящего не бывает – вместо него откуда-то берётся злющий ледяной сквозняк. Я смотрел на Алису и думал, что надо бы где-то погреться – у неё был совсем замёрзший вид.

– Дай-ка мне руку, – сказал я, – смотри – какие у тебя лапы красные...

– А у тебя?

– У меня карманы тёплые.

Она послушалась. Руки у неё и вправду были ледяные. Я их по очереди грел. На мосту оказалось совсем холодно. Злой сквозняк свистел и норовил забраться за шиворот, за обшлага, леденил уши, нос, щёки, даже ноги начали мёрзнуть. Кажется, зима не на шутку решила начаться. Рановато в этом году. Но это ерунда. Это – снаружи.

Мы шли, сгибаясь от ветра, словно полярники из фильма про красную палатку. Было даже уютно от того, что так холодно. Мне. Но не Алисе, всё-таки.

– Какой длинный мост, – сказала Алиса, отворачиваясь

от ветра, – это самое холодное место в городе, да?

– Похоже на то, – отвечал я, – хочешь вернуться?

– Да нет уж, теперь-то...

Оставалось меньше половины. Теперь хорошо были видны занесённые снегом кусты акации на той стороне.

Только почему-то ужасно разболелась у меня голова. Возможно, продуло вчера в переулке, а этот ветер на мосту ещё добавил. Дурацкая привычка ходить без шапки в любую погоду. Но кто же знал, что будет такая Арктика! Ах, как хорошо! Какой свистодуй! И как всё это ПО-НАСТОЯЩЕМУ! Холод. Ветер. Мир – снаружи, как раньше.

Как полагается!

Наконец, мост кончился, и мы ступили на другой берег. Здесь было, кажется, несколько теплее. И больше насыпало снега. Мы шли, проваливаясь чуть ли не по колено.

Улица от моста поднималась в гору. Это была обыкновенная улица, каких много в нашем городе. Поскрипывали на ветру деревянные калитки, покосившиеся заборчики. В основном здесь были одноэтажные деревянные дома.

Мы миновали кирпичную, годов шестидесятых, школу и вышли на перекрёсток.

– Куда пойдём? – спросил я. Алиса стояла слева от меня и оглядывалась по сторонам.

– Вот так всегда с тобой, – покачала она головой, – собирались пить кофе... А это что? Где здесь кофе? Здесь... вообще ничего нет. Только снег!

– Откуда ты знаешь, может, за ближайшим поворотом – изысканный бар.

– Ага, – улыбнулась она, – и совсем дешёвый... А бармен признаёт только «Pink Floyd»...

– Почему бы и нет?

– Может и нипочему, – сказала она, – давай пойдём всё прямо и прямо. Может, там и есть твой чудесный бар – или что-нибудь другое. Скорее, всё-таки, что-нибудь другое.

– Ты вот не веришь, – сказал я, – а всё, наверняка, так и есть. Только ещё гораздо чудеснее, чем мы думаем...

И тут она подошла ко мне вплотную, глянула мне в глаза своими странными прозрачно-серыми глазами. Затем взяла мою ладонь своими ледяными ладонями – и так стояла несколько секунд неподвижно и молча, и уже не глядела в мои глаза, прикрыла веки.

– Не горюй, – сказала она. И больше ничего не сказала. Мы взялись за руки как дети – и пошли так дальше по заснеженной улице, почти не глядя по сторонам.

– Слушай, – сказал я, – надо как-то встряхнуться.

– Знаешь, – сказала она, – я то же самое хотела сказать.

Она снова глянула мне в глаза, но теперь это больше походило на просьбу. А потом она заговорила горячо и торопливо.

– Только не думай, что я тебя утешаю. Вот мне кажется, что ты на самом деле не виноват. Действительно, кажется. Ты ведь не хотел причинять никому вреда. Подожди, не пе-

ребивай. А если ты не виноват, если твоей вины здесь нет, а есть только несчастное стечение обстоятельств, то тогда точно нечего ходить с опущенной головой. И вообще, если кому-то нужно, чтобы человек всё время чувствовал себя виноватым, то этот кто-то по-моему вовсе не добра желает. Виноватый ничего не может исправить. Никому не может помочь. Его вина придавила к земле и не даёт глаз поднять. Как можно что-то доброе делать, если ничего не видишь перед собою кроме собственных кроссовок?!

– Не знаю, – сказал я, – а как же всякие монахи, которые чувствовали себя виноватыми во всех несчастьях в мире?

– По-моему, это совсем другое дело, – сказала она, – монахи молились за всех из любви, а не из-за вины. Если не любишь тех, за кого молишься... Да ты разве молишься за кого-то?

– Даже и за себя ни разу не пробовал.

– Это потому, что ты ещё глупый, – мягко сказала она.

– Не всем же молиться, – сердито ответил я, – да я и не умею. И потом, сначала бы хоть что-то сделать. Всё-таки, я же не монах.

– Это уж точно, – улыбнулась она, – хотя ещё не всё потеряно...

– Ты тоже в монахини отправишься? – полюбопытствовал я, – или найдёшь себе другого?

– Другого, – сказала она, – вообще, выйду замуж за миллионера, отравлю его «льдом-9» и заживу привольно. А уж

тогда можно и в монастырь, после таких-то злодейств.

– Дурацкие у тебя какие-то шутки сегодня, – сказал я. Меня и правда передёрнуло от такого «веселья».

– Прости, – она тихонько коснулась меня плечом, – я нарочно болтаю всякую чушь... Ой, смотри.

– Куда? – не понял я.

– Вон твой бар, – негромко сказала она, – который за углом.

Я посмотрел куда она показывала. Там, на пригорке, с занесённым снегом фундаментом, возвышалось некое строение. Скорее не бар, а так называемая «стекляшка». Что она делает на такой глухой, никому не знакомой улочке, было непонятно. Мы подошли поближе. Никакой вывески на «стекляшке» не было. Мы поднялись по заснеженным бетонным ступенькам и остановились.



– Ну, что же ты, – сказала Алиса, – обещал кофе... Открывай давай.

– Почему ты решила, что это бар, – сказал я, вспоминая Витьку, – может, это обувной?

Стёкла были во-первых грязны, во вторых – покрыты свежей изморозью, а там, где изморози не было – они попросту запотели изнутри. Не было никакой возможности увидеть что-нибудь через такие стёкла.

– Достаточно потянуть за эту ручку, – подсказала Алиса, – и мы всё узнаем.

– Вообще всё?!

– Холодно, – пожаловалась Алиса, – кофе хочу...

Я наконец сжалился над ней и потянул дверь на себя.

...Никакой это был, конечно, не бар. Обыкновенная шофёрская забегаловка.

И никого не было ни в кабинке кассира, ни за прилавком. Пахло фабричными пельменями, уксусом, бензином и водкой. За столиками тоже никого не было.

Только за одним столиком, у самого окна, чуть левее хилого болезненного фикуса, спиной к нам, сидел крупный мужчина лет сорока. Он не обернулся когда мы вошли. Я подумал, что это, наверное, водитель какого-нибудь грузовика. Как-то они отличаются от других людей. Не одеждой и не запахом бензина... Что-то есть в их осанке – может быть, даже не в осанке – а просто в форме спины. Собственно, кроме

спины я тогда ничего и не видел. Ну, ещё затылок. Коротко стриженный, с жёсткой тёмной шевелюрой. Он допивал чай и просматривал газету.

– Давай кого-нибудь позовём, – тихонько сказала мне на ухо Алиса, – и нас накормят...

Она всегда ужасно стесняется в таких местах, даже если они почти пусты, как сегодня.

Я уже хотел и правда кого-нибудь позвать, но неожиданно откуда-то донёсся хрип и шип, и радиоголос неопределённого пола произнёс:

«Щас передам предпоследние известия. Сегодня хлебкоровы Тю... ага... мени... побили, знача, свой собственный приход за последний квартал второй половины отчётно-подотчётного взвода текущего месяца по выбору в парламент структурной и-и-и... злаковой культуры... то есть, породы... с учётом большой инфляции, переходящей в девальвацию нечернозёмных пород хрупкого, нефтеналивного... мелкого и переднего рогатого... извините. И это при наличии таких неблагоприятных перед... с ударением у меня тут... проблемы... пред... и подотчётных условий как в нынешнем текущем за прошлый встречного стахановского предвыборного... ни-же-под-пи-тав-шихся... по средам и четвергам... пятниц... на неделю. У ртутного столба. По Цеткин... Или – по Цельсию. У картофана... тьфу ты... моркофана... да, блин да гафель!!!!... ма... крофона!!!! главный заместитель нелинейного

бригадного масштаба на километр, стадный звездоруб Прикамско-Астраханского варана... ветерана... аховый победитель, как это ни странно, Передового Напрасного Пламени... Свободы, Завязтого... нет, с маленькой... знача... ё... А!.. простите, это – ...ещё... завязтого, знача, ещё до отмены всего наилучшего... господин товарищ приятель Пи... Пе... Пёдор... Ху... простите... Кулич... Залихватский... С... праздничком, дорогой товарищ неприятель! Приём... ПРИЁМ!!! При... Ё?!... Ну, б... Автора, с-с... Извините.»

Раздался щелчок. Всё стихло.

– Ну, – не выдержал я, – это уж слишком!

– Да уж, – отозвался мужчина, сидящий у фикуса, всё ещё не поворачивая головы, – совсем, понимаешь, озверели. Ни ума, ни лёгкости. Впрочем, что с них взять... Клавоочка! Можно ещё биточков?

– Сейчас, Володенька, – раздался из глубин помещения грудной женский голос.

Откуда-то взялась толстая тётенька. По-моему, одна из тех, с которыми я ехал на поезде в Ленинград. Из моего купе. Она несла большую общепитовскую тарелку, на которой громоздилась целая гора биточков в подливке. «Прикамского варана», – продолжало звучать в голове отголоском радиопередачи. «Отчётно-подотчётного вездеруба...»

...Мне стало нехорошо. Слабость какая-то подступила к горлу.

Бред ведь полный, тоскливо думал я. Полный и окончательный бред.

Потом на меня нахлынула темнота.

Глава шестая. Эхо Ленты

Ненавижу, когда будят.

– Да встаю, встаю...

Свет ударил по глазам. Свет. Холод.

Снег. Нашатырный спирт. Этого ещё не хватало!

– Да вы что?!

– Очнулся.

– Вставай. Вставай, пожалуйста! Ну чего он? Никогда он раньше в обморок не падал... Ну вот, опять отрубается. Лёша! Лёша! Дайте ещё нашатыря.

Спать хочу... Чего ж так холодно-то... Дайте поспать.

– Ф-фу-у-у! Да уберите вы эту...

– Вставай!

– Вста-ю!

– Эхо ленты...

– Откуда?

– Хрен его знает. Ну что, стоим сами? Не падаем?

Снег. Холод. Незнакомые лица. Запах аммиака, запах бензина...

– Где я? Где Алиса? Вы кто?

– Здесь я!

Алисин голос... Почему же всё так плывёт? И ноги ватные... И во рту слюна какая-то... густая. Вот Алиса стоит.

– Я что, сознание потерял? Ух... говорить трудно поче-

му-то...

Всё, всё плывёт. Нет, надо ещё попросить этой дряни... аммиака.

– Дайте ещё...

Налили на вату Бог знает сколько. Вдыхаешь – всё перестаёт плыть. Словно светом по глазам... Ух, как меня...

– Я что, напился? Ничего не помню.

– Ты, – сказала Алиса – и сразу кто-то:

– Подожди... не надо. Ты можешь идти?

Это мне.

– Могу.

– Пошли, дойдём до машины.

– До какой машины?

– Пошли-пошли. Доброшу до дому.

– Как ты их добросишь? Подождали бы.

– Ты не понимаешь. Он не может оставаться.

– Да что ты выдумываешь? С чего ты вообще взял, что он...

– Попридержи язык.

– А что?

– Плохо слышал? Плоский круг...

– Ты что?

«Кажется, атмосфера накаляется», – подумал я. Только я напрочь не понимал – что происходит.

– В левую дверь, пожалуйста...

– Отправляемся.

- Алиса, помоги.
- Зачем ты...
- Ничего не понимаю.
- Пас. Память без смерти.

Тишина. Темнота. Вечность. Дуновение. Затем – слабый, вечерний свет. И я снова существую.

- Алиса?

Тишина. Я открываю глаза и вижу штору на окне.

- Алиса?

Молчание. Нет никого. Только запах аммиака.

- А... Антошка? Ты откуда здесь?

- Снюсь.

- Нет, серьёзно.

- А ты откуда?

- Где?

- Здесь?

- А где мы? И почему темно?

– Утро. Не рассвело ещё. А вообще-то ты у меня. Повезло нам. Все уехали.

- А где Алиса?

- Обещала попозже позвонить.

- Что случилось? Ты знаешь?

– Немного. Вчера вечером они с каким-то дядькой тебя притащили. Почти что волоком. Ты почему-то ходить не мог. Хорошо, что родителей не будет до завтра. Они бы офигели.

А ты что – не помнишь? Откуда тебя такого?

– Не-а. Антошка, а можно у тебя пока побыть? Что-то мне не по себе...

– Я же говорю, до завтра – хоть на ушах стой.

Потом я совершил долгое и трудное путешествие в туалет. Дорога была, мягко говоря, необычной: с багровыми россыпями по краям чёрно-зелёного неба и огромным желанием стать обратно глиной. Когда я снова добрался до дивана, отлежался и отдышался, Антон дал мне чашку горячего чаю с лимоном. Я выпил чай и через несколько минут почувствовал себя немного лучше.

Антошка открыл окно и уселся на широкий подоконник. Я по-прежнему не решался покинуть диван, так как пол и потолок всё-таки ещё имели тенденцию меняться местами, а резкие движения вызывали тошноту и сильную боль в макушке.

Когда я проснулся, в комнату лился свежий воздух. Он не был холодным. Погода изменилась, как я и предполагал. Вчерашний снег растаял без остатка, и на улице текли ручьи талой воды. Пока было пасмурно, но северо-восточная мгла уходила уже обратно на северо-восток. Скоро должно было выглянуть солнце.

– Твой любимый зюйд-вест пришёл, – сказал Антон. То ли он так и сидел на подоконнике, пока я спал, то ли просто снова уселся на него. Наверное, это его любимое место в комнате, – подумал я, и сказал:

– Любимый. А твой разве не любимый?

– Хороший ветер, – сказал Антошка, – просто я больше люблю Запад. А вообще-то, все ветры хорошие. Даже те, что злятся. Они ведь не сами по себе злятся.

– А как? – удивился я.

– Ну как, – задумчиво сказал Антошка, и глаза у него стали какие-то не антошкины, прозрачные и... и мне даже немного не по себе стало, хотя, казалось бы, куда ещё не-по-себе... – ну как... – не сами – вот и всё. Наверное, велит кто-то.

– Кто?

– Не знаешь?

Он улыбался.

– Не понимаю.

– Ну смотри. Кто велит чтобы солнце утром вставало, а вечером садилось. Чтобы роса выпадала. Чтобы море было солёное, а дождь и реки – пресные...

– А трава зелёная, а снег белый, а люди – глупые...

– Не глупые, – покачал он головой, – и не умные. Вроде матрёшек. Ты думаешь – всё само по себе?

– Не думаю. Просто не понимаю, и всё. Зачем мне думать. Всё равно бесполезно. Это не понять. В принципе! Чего ты смеёшься?

– Всё ты понимаешь, – рассмеялся Антошка, – я же вижу. Просто дурака валяешь. Как обычно.

Похоже, он и правда считал, что я что-то там знаю, или

понимаю. Вот чудак. А я? Правда ничего не понимаю? Со-
всем-совсем ничего? Валяю дурака (да ещё – «как обы-
чно»!)? До того ли мне теперь? Нет, это всё-таки фигня всё
какая-то. Не может этого быть. Ну просто не бывает – и всё.
Однако... Разве я и правда так думаю? Что за бред, опять
это дурацкое чувство, что я из двух половинок. Или все –
так же?

– Может, ты и прав, – сказал я, – тут последнее время та-
кое происходит... В общем, вряд ли оно этак вот происходит
само.

– А что происходит? Что вообще случилось?

– Сам не знаю, – сказал я, – похоже, я попал в переплёт.
Помнишь, ты говорил – у каждого места есть сердцевина?
В общем, уже два дня подряд я попадаю в такую вот серд-
цевину, и со мной что-то происходит. Тебе Алиса ничего
не рассказывала?

– Они почти сразу ушли... Не до того было. Просто, про-
сила о тебе позаботиться. А тот дядька – он сказал, что всё
будет хорошо, и ты скоро придёшь в себя... Вот и всё.

– А что, всё-таки, за дядька?

– А ты его не знаешь, что ли? Он тебя, похоже, знает – я
думал, вы знакомы... Он тебя по имени называл, и вообще...

– Я его не знаю, Антошка, в том-то и дело. Всё это ужасно
странно. Слушай, а... какой он? Ты можешь его описать хоть
немного?

– Ну конечно. Большой такой. Сильный. Лицо хоро-

шее. Он по-моему всё-таки волновался за тебя... Бензином от него пахло, и смазкой... Ну, вроде солидола. Так от механиков пахнет и от шофёров, которые на грузовиках. Алиса ему, по-моему, вполне доверяла, я и подумал, что он ваш общий знакомый, или родственник... Твой, или Алисин...

– Родственник, – повторил я, – на песке...

– Родственник на песке? – не понял Антон, – это что значит?

– Ничего. Просто в голову почему-то пришло.

– Что с тобой вообще происходит? – не удержался Антошка даже некоторое раздражение почудилось мне в его голосе, вроде как у Витьки от моих дежа вю. Да нет, почудилось, наверное, не может быть – просто он волнуется. А может и Витька тоже?

– Я же говорю. Бред какой-то. Ничего не пойму, словно мир перевернулся и вверх тормашками мне язык показывает – попробуй, мол, пойми – что я такое. И кто ты сам такой.

– Но с чего всё началось-то? Ведь месяц назад всё было нормально?

– Месяц назад я был в Питере. А ещё год назад мы с тобой гуляли Бог знает в каких странных местах. И ты мне как раз и рассказывал про эти особые сердцевины, так? Ну вот, я уже тогда на самом деле чувствовал, что должно что-то прорваться. Точно должно. Только я не знал, что это будет так... болезненно.

– А потом?

– Потом наступило... позавчера. Ну, то есть, началось всё раньше. Сначала, ещё до отъезда, я с Алисой поссорился.

– Это я знаю. Только я не понял – из-за чего.

– Из-за другой женщины.

– Ну ты даёшь...

– Даю. А ещё раньше, года два назад, была та история. Про человека, которого зовут Дик. Я рассказывал.

– Рассказывал. Только при чём здесь Дик?

– Тогда реальность поплыла. Не так как теперь, но всё же ощутимо. То есть, поплыла в том смысле, что вдруг стали казаться возможными чудеса. То есть, то, что раньше казалось чудесным, стало казаться возможным.

– Дальше-то что?

– То, что я, кажется, попал в такую сердцевину. Шёл пешком с Гурзуфской, решил срезать, чтобы мимо стадиона не идти. И началась какая-то фантастика. Только мне теперь не описать ничего по-настоящему. Словно ТАМ и ТОГДА было одно, а сейчас – совершенно другое. Словно это – другой мир. Я только птиц помню. По-моему, меня пытались остановить. Просто остановить, а я не захотел останавливаться. Птицы налетели на меня. Сначала даже не клевали, просто били крыльями. Ну, я стал отбиваться, и они тогда тоже принялись нападать как ненормальные... А, вспомнил! Началось с того, что я хотел идти, а подо мной земля стала проворачиваться, как эскалатор! А потом уже птицы... Я испугался, кажется, это когда уже океан был... И стал...

В общем, стал бить насмерть.

– Птиц?

– Птиц. В общем, до дому я ещё как-то добрался, утром пришёл в себя, и понял, что надо идти опять туда, в переулок Медиков. А в центре встретил Алису. Мы хотели где-нибудь выпить кофе, а всё закрыто... Блуждали-блуждали по городу, смотрим – река и мост через реку. Мы реку перешли, смотрим – стекляшка. Ну, мы зашли... И всё, дальше всё опять поплыло. Приёмник какой-то дурацкий... Потом не помню. Потом я вот здесь у тебя на диване очутился.

– История...

Помолчали. Ветер колыхал занавеску. Комнату наполнял тёплый воздух. Дышалось легко, и я чувствовал себя всё лучше и лучше. Подумалось даже, что, наверное, неплохо бы погулять. Но от мысли, что Бог Троицу любит, делалось не по себе – мало ли чем может закончиться сегодняшний день! Нет уж, завтра. Тем более, что всё равно Алиса должна скоро позвонить. Дождусь звонка, а там посмотрим.

– А ты изменился, – сказал вдруг Антон. Оказалось, он внимательно глядит на меня.

– Просто устал, – рассеянно ответил я, – всё летит куда-то, неведомо куда... Если бы понять, что я... должен сделать, что ли... Как будто я всё спал и спал. Всю жизнь спал, и теперь только просыпаюсь. У тебя так было?

Он не ответил. Легко прыгнул с подоконника и ушёл куда-то. На кухню, наверное. Я досчитал зачем-то до десяти,

встал и, почти не чувствуя головокружения, натянул джинсы и рубашку. Подошёл к окну. Небо совсем расчистилось, было бледно-голубым, как весной, и высоко-высоко летели лёгкие белые облака. Ветер гнал по жухлой, просыхающей траве какие-то бумажки, и где-то далеко играла музыка. Я прислушался и с удивлением узнал «Because».

– Алёша, – позвал с кухни Антон, – иди сюда, я тут яичницу жарю...

Я пришёл. Он раскладывал по тарелкам оранжевую глазунью. На газовой плите закипал чайник. Было уютно, и почти не тревожно. Мы съели яичницу молча, оказалось – я проголодался. Антон был задумчив, рассеянно глядел как я завариваю чай. Казалось, он принимает какое-то решение, или просто прислушивается к чему-то внутри себя. В голове моей крутилось несколько странных незнакомых слов. Было непонятно – откуда они взялись. Может, они пришли мне в голову, когда я был в переулке Медиков? Или это вроде «родственников на песке» – ничего не значит, как странный сквозняк? Я не выдержал в конце концов и спросил:

– Ты не знаешь, что такое «эхо ленты»?

Конечно, вопрос прозвучал по-идиотски. Какое эхо? Почему эхо? Да ещё – ленты! Я не думал, что он ответит. Но он именно ответил – так, словно ждал именно этого вопроса. Ни тогда, ни после я не мог понять – откуда Антон вообще знает такие вещи. Может быть, следовало бы спросить по-другому: кто же такой на самом деле Антон, если он знает

такие вещи? Но это всё равно. Ни тогда, ни после – я это никогда не узнал. И не надо.

– Знаю, – сказал он, – теперь знаю... – и вдруг он – внезапно и пронзительно – как ястреб – глянул мне прямо в глаза.

– Это, – сказал он чётко и отдельно, – то, что мешает тебе узнать – кто ты, – он всё смотрел на меня в упор своими непонятными зелёными глазами.

– Но это и то, – чуть помедлив, продолжил он, – что может тебе помочь узнать – кто ты такой. И что тебе надо делать.

Я тупо молчал, уставившись ему куда-то в подбородок. Ждал продолжения. Потом потёр ладонями виски и лоб, потому что почувствовал странную тяжесть. А он и не думал продолжать. Принялся как ни в чём не бывало звенеть ложечкой в чашке с чаем.

– Ты что, – сказал я, – сфинкс?

– Наоборот! – улыбнулся он, – как раз наоборот!

– Но если... – начал я, и в этот момент зазвонил телефон.

– Это Алиса, – он продолжал улыбаться мне так, словно это я был ребёнок, а он – взрослый.

– Иди, – сказал он, – возьми трубку...

Всё было... Хорошо. Я знаю, это нелепо – так говорить, когда нет ничего в голове, нет ничего в сердце, когда всё – просто НЕЧТО, и это НЕЧТО делает с тобой что хочет, и как только ты поднимаешь голову – тебя быют, и ты падаешь, и снова поднимаешься, и тебя СНОВА БЬЮТ, и всё это – просто... жизнь, и надо продолжать движение. Я знаю, это

кажется нелепым. И всё же...

* * *

Глава седьмая. Видения

Наутро лужи снова покрылись льдом, а грязь затвердела. Я-то думал, что она просохнет на солнце, и будет тёплый день. Я даже надеялся раскочегарить велосипед. Но ветры ничего не знали о моих планах.

В такой холод хочется снега. Как-то неестественно это, когда всё такое серое и мёрзлое. Дует резкий ветер, он, может, и не очень сильный, но зато – северо-восточный. Он обжигает лицо и руки, напоминая, что совершенно напрасно ты не надел куртку с капюшоном и тёплые вязаные перчатки. А если ты ещё и на велосипеде – вовсе несладко.

Вообще, лучше бы дома сидеть, но раз уж приспичило куда-то идти и ехать по этим промёрзшим улицам, то хорошо бы в карманах кроме ключа от квартиры звякало ещё что-нибудь. Хорошо бы это были монеты. Хорошо бы их хватило на проезд в городском транспорте. А заодно и на стакан горячего кофе (или того, что они называют этим словом) в какой-нибудь заштатной булочной...

В общем, велосипед мой остался грустно стоять у северной стены. Изнутри. Я пожелал ему добрых зимних снов и пообещал с первым весенним сухим асфальтом взять с собой в далёкое сосновое путешествие на Юго-запад. Мы кивнули друг другу на прощание. Я проверил – все ли документы для отдела кадров у меня с собой, ещё раз пересчи-

тал мелочь в карманах куртки – и вышел из дому. Я отправился на поиски работы. Так я, во всяком случае, говорил сам себе. И надо отметить – этому себе я говорил не всю правду. Всю бы он просто не понял. А объяснять этому себе всякие тонкости было попросту неохота. Дурацкая это затея и неблагодарная. Вроде как напевать инспектору району что-нибудь из «Pink Floyd».

А пешком я отправился не только из-за холода. Словно кто-то сказал мне: погоди со своим «Спутником». Так ты уже делал и ещё сделаешь.

Я шёл по улице, ёжась, засовывая руки поглубже в карманы своей куртки без капюшона. И думал об автобусах, и об этом странном времени года, которое принято называть осенью.

Мысли складывались в слова. Слова выстраивались в строчки. И вот что у меня получилось в конце концов:

Облетели деревья.
Опрокинулось небо.
Стаи голых домов
Одиноко маячат, и ясно,
Что дома никому не нужны.
Холодеют заборы.
Остывают асфальты.
Начал падать тихий снег.
Снег летит невесомо:
Его выдувают на небе

Из игольного ушка.
...Почему-то автобусы
Стали сердитыми.
Подходят к остановке,
Большие и серые,
Холодные как солнце.
Но внутри тепло.
Я закидывал удочки.
Я вытягивал сизых и странных рыб,
Дрожащих на леске
Как огромные капли воды.
Чёрно-белые здания
Забывают свои фасады,
И те засыпают в пыли...
Это распорядилась Осень.
Установила свой порядок.

Я стал думать – почему – холодные как солнце? Наоборот же! А потом понял, что нет – не наоборот. Солнце-то осенью холодное! А автобусы? Автобусы осенью тоже не такие как всегда. Представляете, выныривает ваш автобус – с вами на борту – из какого-нибудь неизвестного закоулка, и, прежде чем нырнуть в другой такой же неизвестный закоулок, останавливается на углу. Выходите вы, и места вам незнакомы, а напротив вас некий сквер – и вы никогда раньше не видели этот сквер, а у входа в сквер абсолютно неведомая булочная. Дальше всё просто: человек заходит и видит очень таинственный кафетерий. Странные и вечные кунцев-

ские булочки по три копейки, удивительный и незнакомый напиток за восемнадцать – и того – двадцать одна копейка. Человек спрашивает – как называется напиток, и ему таинственно и молча указывают на ценник. Там написано: кофе с молоком.

Тогда человек просит угостить его этим напитком и в доказательство серьёзности и обдуманности своей просьбы выкладывает на прилавок два гривенника и копейку.

О, придорожная булочная! Сколь странна и таинственна ты есть! Бог знает, когда ещё тебе удастся найти пристанище и глоток горячего, усталый человек! Путь твой долог, нелёгок и полон опасностей... Думаешь, я шучу? А вы говорите – город, осень...

Итак, Лёша допил кофе с молоком, дожевал булочку и вышел под дождь. Потому что теперь на улице шёл дождь.

Улочка, которую он выбрал для дальнейшего путешествия, уходила горбатым асфальтом круто вниз. По бокам росли кусты жёлтой акации, причём акация облетела ещё не вся. Это было удивительно: кажется, все деревья и кусты в городе уже облетели. На улице опять как-то резко потеплело. И дождь стал другим – он падал на землю вертикально, и сразу почти весь выпитывался. Не стало луж, куда-то делись лужи. Такие дожди бывают летом, после долгой жары, но уж никак не в октябре, в самую слякоть и промозглость. И ветер изменился: он больше не обжигал, а налетал тёплыми влажными порывами, словно в шутку, играя с Лёшей в ляпки,

что ли... Правда, куртка в конце концов, стала мокрой насквозь, но было вовсе не холодно, и настроение Лёшино изменилось. Да, это был любимый Лёшин зюйд-вест, и он всё время усиливался.

И нёс он запах сосновой хвои, а не бензина и не химических отходов. Впрочем, ничего удивительного: именно с юго-запада к городу вплотную подходят бескрайние сосновые моря. Они, правда, и с севера подходят, и вообще – со всех сторон, но только на юго-западе им не преграждают путь никакие, извините за выражение, промышленные гиганты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.